

# РОЖДЕСТВО

## РАССКАЗ

### I

Уже сколько лет я живу с мыслью совершить нечто великое. Будет это скорей всего в области литературы – математик я аховый, слух у меня швейковский, спорт мне не по плечу – словом, литература. Первый мой опус был роман из японской жизни: «Г-н Синекура Мамура, банкир и промышленник, дождавшись зеленой улицы, плавно заскользил по Гинзе во главе колонны автомобилей, скопившихся на светофоре. Ехавший был настолько заинтересован статьей в “Токио-сан” о пуске в строй новых мощностей, что поминутно косил глаза под себя, где ему прикрывала колени газета. Внезапно под колесо метнулась тень девушки. “Гейша! – мелькнуло в мозгу у промышленника. – Вот до чего ее довели, раз она решила покончить жизнь самоубийством, бросившись под колеса автомобиля”. Машина резко свернула и опрокинулась в кювет. Из открывшейся дверцы безжизненно выглядывала голова Синекуры Мамуры. Это был высокий мужчина нерусского вида с красивыми глазами, грустно взиравшими на мир из-под пушистых ресниц. Девушка встала и медленно подошла к нему...»

– Стоп, – перебил меня отец. – Это глупости. На Гинзе нет кюветов.

Он только что вернулся из Японии, и чемоданы его были полны детских вещей из невиданной доселе синтетики. На дворе стоял пятьдесят шестой год, и шел тогда одиннадцатый год моей жизни.

А вот, друзья, отрывок из поэмы пятьдесят девятого года. (Отец приехал из Америки, на мне синие с красными отворотами сливы, т.е. джинсы, не буду рассказывать почему, но «сливами» на нашем с ним языке называлось любое проявление его родительского чувства, будь то гостинец, письмо или даже записка, оставленная в дверях.)

Отрывок из поэмы:

В тормозах дорожного скрипа  
Стоит переросток на перекрестке.  
Голова юлбринново обрита,  
В сердце другой подросток.

(Переключка – вдалеке – «Великолепной семерки» с блоковским «Стоит буржуй на перекрестке...»)

Четырьмя годами позже я поступал в Горьковский институт с рассказом, заканчивавшимся словами: «...А город зажигает над ними свои огни». (Парень с девушкой, держась за руки, истаивают в перспективе улицы – асфальт влажен – так и просится: «Конец фильма».) Срез молодого дерева пришелся под самый корешок: еще до начала экзаменов, в анкете, в графе «пол», написал «самец». Отец

ничем не мог быть полезен и лишь телеграфировал из Южной Америки: «Лети Киев пединститут иди Устименко». Но беленькой бумажке с грифом «Отпр. международное» не суждено было меня заставить, к тому времени я уже сдал последний экзамен в Рижский университет им. Стучки.

– На Запад потянуло, как и тебя, – объяснил я отцу, почему предпочел коклу бандуре.

– Пострел, – засмеялся отец и покраснел. – Вот тебе, Вовка-морковка, носи да предка своего не забывай. – Он надел мне на запястье такую чудную сливу, у которой циферблат заменяла рубиновая пластиночка со вспыхивавшими на ней чертяками. – Ну как, Вовка, сила?

Поддельваясь под ложно-молодежный жаргон, слюнвявый и выдуманный В. Пановой, отец не понимал, сколь жалок и смешон становится. Особенно когда в компании моих сверстников начинал разыгрывать из себя «вполне современного старика»: «Чувак, схавайте, пожалуйста, банан». В таких случаях мне бывало противно и больно, и хотелось, подобно раненому зверю, своими же зубами наказать свой же собственный рваный бок. Вот почему вместо благодарности я только махнул рукой:

– Часы... ты бы хоть раз привез мне что-нибудь для моей литературной работы.

– Но я думал, ощущение времени необходимо писателю... – Я заметил, как на миг он закусил губу. – А что бы ты хотел?

– Трубку.

В другой раз, получив трубку, пенковую, из Стамбула, – я сказал:

– А у Абрамова есть дома «Доктор Живаго», ему какой-то моряк привез. Теперь, пока я буду курить трубку, он будет читать «Доктора Живаго». Эх, жисть! Рискнул бы раз – да протащил бы стоящую книгу, которую в этой проклятой стране...

Как ни странно, но ничто не уязвляло отца больней, чем напоминание о советской власти. Обслуживая самые ее потроха, он тем не менее умудрялся, если не изображать святую невинность, то, во всяком случае, сохранить поразительную избирательность восприятия. Это походило на жизнь в выгребной яме с соблюдением, по возможности, правил гигиены. Все, что оказывалось за пределами такой возможности, замечать было как-то не принято, и когда я вдруг делал это – бесцеремонно бросал ему правду в лицо – он сразу же съеживался, краснел – он вообще был мастер краснеть. Раз только, помнится, он сказал, что если кому и быть в претензии, то уж никак не мне. Ну и выдал я ему тогда... (А книжку он мне привез. Заговорщицки поманил меня и, не говоря ни слова, постучал пальцем по ящику письменного стола, в котором она уже лежала: маленький сюрприз. К сожалению, это оказалось совсем не то, что я хотел, – какой-то допотопный сборник рассказов, где даже орфография была сохранена времен Гостомысла: ять на яте и ятем погоняет. Полистав все же для вида, я усмехнулся – вслух, так, чтобы отошедший к дверям и оттуда смотревший на меня, он все слышал: «Хо, белая акация – цветы эмиграции», – и положил книжку обратно в ящик.)

Но вернемся к моему намерению потрясти литературный мир. Рига с ее высокой культурой кафе пользовала меня в этом отношении чрезвычайно. Как известно, лучший стимулятор гениальности – это молодежное кафе, если просиживаешь в нем по целым дням. В «Вэцриге», совсем недолго постояв перед этим в очереди, старые латышки ковырялись ложечками в бисквитах, в «Птичник» слетались консерваторские курочки, «Аллегро», большое, вокзального типа кафе-мороженое, захватили деревенские, в «Луне» был сборный пункт получающих посылки и, наконец, в «Клубе 13 стульев» собирались мы, интеллектуалы. Тон задавал Ян Бабаян, харьковчанин с армянской фамилией, которую смеха ради собирался сменить на Бабенко; впоследствии, женившись, он перешел на фамилию жены. Ян – всезнайка. В моем портфеле вместе с сором – неизбежным даже в дамских сумочках – по-

моему, и по сей день валяется рассыпающийся по сгибам листок, где рукой Яна написана в столбец двадцать одна знаменитая фамилия на «Н».

Дело было так. В нашем кафе меня вдруг назвали «турком», моим старым школьным прозвищем. Меня это удивило. Яна же наоборот – удивило то, что он до сих пор этого не замечал – что я турок.

– Это потому, что я такой же турок, как ты армянин, – сказал я.

– Удар ниже пояса, – запротестовал Ян. – Ты говоришь так только потому, что знаешь мою фамилию.

– А ты – мою.

Ян помолчал, раскурил турецкую пенковую трубку, которую я ему подарил, и сказал:

– Набок – вовсе не турецкая фамилия. (Я, извиняюсь, забыл представиться.)

– Турецкая, из-за нее мне прозвище дали.

– У нас в школе была одна евреечка – Набок, – вмешался кто-то третий.

– Ну уж увольте, – тут запротестовал я. – Она, наверное, была Набох или что-нибудь в этом роде.

Слово за слово, и Ян вдруг говорит:

– Эх, не быть тебе, Красно Солнышко, великим человеком. Человечество по великим людям квоту на «Н» уже выполнило.

– А на «Б» еще нет? – ехидно парировал я.

На это Ян предложил мне устроить блиц: кто в минуту больше настроит знаменитостей, я на «Б» или он на «Н». Победила дружба. Моих было больше, но койкого пришлось вычеркнуть, поскольку я не помнил, кто они такие. Если память мне не изменяет и на сей раз, то вычеркнуты были: Баженов, Боголюбов, Бассомпьер, Бахус (не композитор – другой) и еще несколько. У Яна же к каждому имени имелось, хоть и коротенькое, но примечанище: «Нелеп – первый тенор после Лемешева и Козловского, Нельсон – знаменитый борец, первый сделал прием “двойной нельсон”». Впрочем, вот весь его списочек, он у меня, как я уже говорил, сохранился:

Некрасов («Однажды в студеную зимнюю пору...»)

Некрасов («В окопах Волгограда»)

Нахамчик (настоящая фамилия Свердлова)

Набуту (политический деятель, убивший Лумумбу)

Набутов (сам знаешь кто)

Набатов («Мы с приятелем вдвоем вам частушки пропоем...»)

Нагибин (знаменитый кинорежиссер, за фильм «Дерсу Узала» получил Нобелевскую премию)

Надсон (гениальный поэт-декадент)

Нансен (открыватель Южного полюса)

Никсон (президент)

Нельсон (знаменитый борец, первый сделал прием «двойной нельсон»)

Нельсон (знаменитый военачальник)

Невский (знаменитый военачальник)

Нахимов (знаменитый военачальник)

Наровчатов (выдающийся атомщик)

Науходоносер (грозный царь иудейский)

Нежданова (выдающаяся артистка)

Незванов (выдающийся артист)

Незвал (чешский декадент)

Нелеп (первый тенор после Лемешева и Козловского)

Наполеон (неразборчиво)

Но хотя «победила дружба» и мы набрали приблизительно равное количество очков: он взял скрупулезностью знаний, я – шириной охвата, все же тень сомнений касательно моей будущности из-за фамилии, начинавшейся с «Н», у Яна оставалась. Желая развеять даже эту тень, я принял решение отнести в редакцию студенческой газеты что-нибудь из своего. Рассказец, который, увы (а может, и не увы, Богу видней), не спас меня от провала при поступлении в писательский вуз, мне показался вполне пригодным для литературного дебюта. С ним я и отправился к редактору газеты Косте Самохину.

Костя – номенклатурный деятель из лысых очкариков, которым уже давно за сорок, а они все еще «кости» по роду деятельности, – тут же, не отходя от кассы, пробежал глазами мое «Сретенье душ», но при этом прийти просил через недельку – для беседы. Через недельку он встретил меня дежурной фразой всех следователей: «Я ознакомился с вашим материалом, и вы знаете, вы меня порадовали. Мы только слегка изменим название. Гораздо лучше будет, – Самохин заглянул в мою рукопись, – «Любить». Так современной. А то «души» – это как-то, знаете, из словаря наших бабушек. И, разумеется, произведем маленькую стилистическую правку. Есть возражения?» Возражений не было. От Самохина я ушел с твердым намерением не узнавать его при встрече и не здороваться, словно мы совсем не знакомы (словно, забегая вперед, я оригинальный текст рассказа «Сретенье душ», а он то, что выпустил под моим именем их грязный студенческий орган; только истаивающий в сумерках вечернего города конец – «конец фильма» – с двумя рядами фонарей на двубортном кителе неба они сохранили в неприкосновенности, попробовали бы его тронуть...).

С Яном мне было стыдно встретиться: он мог бы с полным правом плюнуть мне в физиономию теперь. Долго я его избегал, но неминуемый рок, несмотря на все мои усилия, свел нас – спасибо, что хоть на «нейтральной земле», – в «Птичнике» (я перестал ходить в «13 стульев»).

– А, Володимир Красно Солнышко, и ты, сука, продался большевикам? – сказал он, отламывая половинку от моего пирожка с ребарбаром (ревенем – раньше он себе этого бы никогда не позволил).

– Что ты, Ян Бабаян, это они сами мне продались. – А про себя думал, стервенея: «Слабо, ох, как слабо! Гусь лапчатый! Тряпка! Ничтожество! Вовочка-морковочка...»

В любой любви нужна удача, даже если это всего лишь отцовская любовь, а то будет, как с моим отцом: все не вовремя, все не к месту, как будто специально старался вызвать во мне раздражение. Это к тому обстоятельству говорится, что в студенческой общаге, где я не жил, но числился, и куда иногда захаживал – по любовной нужде, меня вот уже вторые сутки дожидалась фототелеграмма. «Горячо поздравляю с литературной первенкой. Пусть твое самопишущее перо и впредь будет зеленой палочкой. Твой счастливый старикашка».

– Тыфу! – невольно вырвалось у меня. Отцовская «слива» оказалась насквозь червивой, она оказалась бы несъедобной даже в том случае, если бы я действительно «своим» рассказом сказал новое слово в русской литературе. И откуда он узнал? Не иначе как «счастливый старикашка» – дело рук Самохина. Боже, как стыдно...

От курса к курсу мои московские наезды становились все реже и короче.

«...Уж реже солнышко блистало, короче становился день», – писал отец в открытке. Ничего, он нашел прекрасный выход из положения: у него в Риге вдруг объявилась масса дел. Между делами он ходил со мной обедать и, очевидно, был страшно доволен такой компанией. Причем я заказывал блюда, которых терпеть не мог, и все оставлял на тарелке. Эти свиданки происходили с частотой регул и, как последние, были хоть и чертыхаемы, но все же...

Однажды я перепугался, словно забеременевшая студентка, когда два с половиной месяца от отца ничего не было. Я даже звонил в Москву, но телефон отвечал долгими, совершенно безнадежными гудками. Но стоило только мне получить от него открытку с датой приезда – прежде он таких открыток не слал, а прямо приехал – как я, чего тоже прежде не делал, спустился в магазин, купил плакат и в перевернутом виде приколот его кнопками в «кабинете задумчивости». Плакат гласил: «Заветам отцов верны!» – салага, с солнечным бликом вполкозырька, нежно обнимает седоусого воина. Отец долго рассиживал перед этим плакатом, вероятно, не зная, как реагировать, и вышел, не сказав ничего, красный. Вообще на этот раз он был неразговорчив и все ждал, что я первый поинтересуюсь, где это он пропададал столько времени.

– Ты не видел фильм «Столь долгое отсутствие»? – вдруг спросил он.

– Нет, не видел, – ответил я.

Он мялся. Любитель краснеть, он словно любовался каким-то ему одному видимым закатом, позабыв, что багровый отсвет отнюдь не красит стареющие лица. Когда мы выходили из ресторана, он сказал:

– Сынок, – слово редкое, слово – сигнальная лампочка в минуту опасности, – сынок, мне надо с тобой поговорить...

«Слышно мягкое шуршание шин по мокрому асфальту». На каменном буржуазном столбе такие же буржуазные часы показывают пять. Но хотя «город и зажигает над ними свои огни», двум фигурам до истаивания, до растворения в собственном счастье еще очень далеко. Все очень напряженно.

– Я собираюсь жениться.

Мимо проехал старенький автомобиль – виден след от рижского довоенного номера. Желтым светом горящие яблоки фар вынесены на поверхность крыльев – от удивления и ужаса вылезли из орбит.

– Ты слышишь меня?

– Да.

– Ну и что ты скажешь... как писатель?

– Ищешь приключений на свою голову. Кто она?

– Девушка. То есть женщина, молодая женщина.

– Дети?

– Нет. Но могут быть, – не понял, не понял моего вопроса, я совсем не имел в виду его грех. – Но ты, Вовочка, не думай, что это может отразиться на... наших с тобой... Вовочка! Пстой! Прошу... – Он сделал попытку меня догнать, вполне честную, хотя и безнадежную – я ведь тоже честно бежал, к тому же без скидки на его возраст и свои чувства. На что, Господи, на что рассчитывают люди, бегущие без всякой надежды догнать, – я обернулся, бедное мое сердце, как он был далеко... Что чувствуют они при этом?

Неделю я жил на взморье, в доме, где снимал летом комнату. Зимой запахи в домах устойчивей.

Кто-то знойные таблетки  
В чай подбросил мне,  
Словно в дьявольской жилетке,  
Вся душа в огне.  
Горло сушит, нету мочи  
Это все терпеть,  
Дело близится уж к ночи...

Я размечтался, не зная, что дальше. За стеной хозяин, черный, румяный Александр Михайлович Гликберг, порол сынишку, который в продолжение экзекуции с большим чувством исполнял песню без слов.

Значит песню петь,

— закончил я, «сложил вещи» — убегая, я ведь размахивал большим чемоданом — и вернулся в Ригу.

После этого почтовый ящик мой оставался пуст недели две. Наступление третьей ознаменовалось получением посылки мандаринов, под которыми на самом дне лежало письмо. Это называлось: сперва покушай, Вовочка, а после поговорим. Думавший таким образом подсластить свое послание преуспел больше, чем предполагал. Мандарины в дороге помялись и изрядно позолотили собой конверт и вложенный в него листок. Я же говорил, что даже в отцовской любви ему не везло. Вот жалкие островки, которые мне удалось отыскать в океане сока:

*Вовка, чувак, привет!*

*Надеюсь, что мандаринки ты схавал с .....*

*..... должен был понимать, какое страшное оскорбление наносу тебе, говоря, что это не отразится на моем отношении к тебе. Ведь этим я как бы допускал мысль, что тобой движут корыстные .....*

*..... твой старый хрыч из тех людей, которые умеют признавать свои ошибки, а если надо, то и наказывать себя за.....*

*..... дурацкая блажь. Как говорится: седина в бороду, а бес в ребро. Ты, конечно, правильно сделал, что эту дурь выбил .....*

*..... прошвырнусь по Елисейским Полям..... подумать о том, чтобы напечататься в хорошем журнале..... переводе Устименко из киевского пединститута прямо в Москву, главным редактором журнала «Большевичка». Это большое повышение. Тут, я думаю, что твоя фамилия тебе поможет.*

*Твой папах*

Я плакал от ярости, читая это письмо. К тому же накануне Ян сочтелся с Юленькой Эскердо, дочерью испанских родителей, и не пригласил меня на свадьбу — она была сыграна в диетической столовой на улице Суворова (но все-таки письмо явилось для меня большим облегчением — как-никак я волновался за него).

## II

В ночь на пятое января один из двух кронштейнов, крепивших тяжелый оконный карниз, вырвало. Обсыпав штукатуркой подоконник и проложив по стене глубокую борозду, карниз острым своим концом расщепил крестовину рамы, тут же с осколками стекла рухнувшую вниз, и, свесившись на улицу, заиграл на ветру тюлевой занавеской, как знаменем. К утру квартиру выстудило полностью и тюль сделался твердым, как мой отец, скончавшийся этой ночью.

Первой мыслью моего еще сонного мозга было поскорей набрать ванну и помыться, прежде чем начнется собачий холод. При этом я не уверен, что не действовал, как тот, кто пытается применить в жизни мнимую логику сна, ведь и картина, открывшаяся моим глазам: окно, карниз, исчезнувшая рама — сильно отда-

вала сновидением. Лежа в ванне, я блаженно созерцал, как плавают в ней мои члены, как верхушками затопленных холмов выступают колени, и чем дольше эти наблюдения продолжались, тем невероятней становилась мысль, что когда-нибудь придется встать. Усилие, которым человек заставляет себя выйти из ванны, можно сравнить только с усилием, необходимым, чтобы в ранний час подняться с постели, разница в малом: из постели тебя гонит долг, из ванны — остывающая вода. Восемьдесят пять процентов человечества покидает ванну и постель не иначе, как судорожным рывком. Оставшиеся пятнадцать — грязнули и лежебоки.

Характерным вибрирующим движением — частота колебаний та же, что у отряхивающейся собаки, — я вытер уши, затем придал голове вид чертополоха, не менее характерный, мне вообще на этот раз хотелось быть характерным, образцовым, поскольку насухо вытираться не в моем обыкновении — оттого-то я и перепутал традиционную последовательность, предписывающую ушами заниматься во вторую очередь, после волос. Однако по мере продвижения махровика книзу натура брала свое, энтузиазм спадал, так что носки я уже натягивал на совершенно мокрые ноги, безбожно перекручивая резинки и проклиная собственные пятки.

Одевшись и надев дубленку, «теплую как печка и легкую как пушинка» — с этими словами она мне была презентована — я вышел на улицу. Мороз был — белый нос. Ржавый замок на дверях жилконторы, после того, как я его подергал, не захотел мне отдавать варежку назад. Тогда я кое-как нацарапал на клочке бумаги, воспроизводя на ней при этом весь богатейший орнамент стены, послужившей мне партой: «В 17 квартире разбито стекло и к черту высажена рама. Настоятельная просьба прислать рабочих. С уваж. (подпись). NB Если меня не будет дома, значит я на семинаре по Научному Коммунизму». (Рассудят так: на семинары по научному коммунизму ходит не всякий, и такому субчику лучше вставить оконце.)

В окружении собак и ночных сторожей я возвратился в квартиру. Как был, в пальто и в сапогах, я забрался под ватное одеяло (тулуп) и принялся ждать. Приходили коченеющие собаки, чтобы смежить мне веки.

У меня не было чувства, что я проспал долго, и вот только чертяка под рубиновой крышкой, когда я нащупал нужную пупочку, зажегся восьмеркой.

«А, черт! — мысль о семинаре, на который я опаздывал, но который на сей раз не мог пропустить, отбросила меня к двери. — Не так уж глупо иногда спать в пальто», — подумал я. О прочем, о затвердевшем тюлевом знамени в окне, я вспомнил уже стоя на остановке, когда со всеми дружно стучал ногой в такт сырой балтийской стуже. Через час начнет светать, через час погаснет в окнах свет, и тогда под моим окном соберется толпа.

В троллейбусе вместе со мной ехала Сильва Вилипа. Никогда не опаздывавшая, она страшно нервничала, и мне, по ее желанию, постоянно приходилось нажимать на пупочку. На Сильвину беду, ее троллейбус — троллем обернулся, а следующего пришлось ждать... вот буквально до... который сейчас час? Зная, что ей, в отличие от меня, поверят на слово, и что ее фамилия, в отличие от моей, не попадет в черный список декана Слуцкого, я полушутя-полусерьезно предложил:

— Послушай, возьми меня с собой в тот не открывший дверь троллейбус. — Она нахмурилась:

— Что, пожалуйста?

Ладно, сколотая Вилипа, врать тебе всю жизнь чужим детям, мне же быть — Прометеем.

От остановки к университету она понеслась как ветер, я за ней еле поспел. Но все-таки опоздала спринтерка: в дверях, подпирая лбом дерматинтовую притолоку, стоял декан Слуцков, профессиональный громила.

— Простите, у меня... у меня мама умерла. (Или мне послышалось, что она это сказала?)

Не обращая на нее внимания, Слуцков опустил мне на плечи обе свои оглобли и с минуту держал их так. Потом развернул меня и повел в свой кабинет, как запряженную лошадь, — впереди себя. И это все — молча.

«Ну вот, сейчас вручит скипетр и державу», — храбрился я, усаживаясь на предлогенный мне стул, тогда как сам он остался стоять. Лакунишонок, которой здесь вовсе не место — на то есть лаборантская, стояла у шкафа, делая вид, что перебирает журналы.

— Звонили из ВЦСПС, этой ночью ушел из жизни ваш отец.

К моим услугам декановский графин и стакан, пей сколько влезет. Но я сделал лишь один судорожный глоток и, словно поперхнувшись, быстро поставил стакан на стол. Лакунишонок затаила дыхание.

— Он умер как солдат на своем посту, во время совещания в Кремле.

Тут Лакунишонок, перенося вес тела с одной ноги на другую, так весело выстрелила половицей, что Слуцков заорал на нее:

— Да уйдете вы уже наконец!.. Гражданская панихида назначена на два часа. Максим Эдуардович (ректор) дает вам свой автомобиль. Шофер поможет, если что надо будет... с билетами и все такое.

Слуцков очень больно сдавил мне руку. У дверей он это сделал еще раз, еще больней.

— Да, брат, тяжело батьку-то терять, — сказал шофер. — Это уж судьба наша — родителей хоронить. Мой помер, когда я пацаном еще был. В аэропорт?

По идее я должен был прежде заскочить домой и выяснить, что с окном, возможно даже следовало оставить там ключи, но что в таком случае подумает обо мне эта добрая душа за рулем?

— Угу. — Гори она огнем, эта квартира.

Ехали молча, я уже было собрался напоследок подарить ему пачку «Кента», как он вдруг спросил — с чисто лакейским подобострастием:

— Видать, большой человек был папаша?

В Москве меня ждала машина прямо у самолета. Мы еще только бежали по посадочной полосе, когда стюардесса с радостным придыханием сообщила мне:

— Вас ждут, быстро идите на выход. Через полчаса начинается. — Она, верно, решила, что мне будут вручать орден.

Снизу, с подножки трапа, ондатровый картуз прокричал:

— Живей в тачку, времени в обрез!

Дорогой капитан — вот уж на его счет у меня не имелось ни малейшего сомнения, ну, старший лейтенант — объяснил, что в пять часов министр должен улететь, оттого и спешка. Причем он с такой живостью откликнулся матком на появление впереди какого-нибудь драндулета, был так агрессивен и в то же время словоохотлив по любому поводу, что я мысленно подивился его полной неосведомленности относительно моей персоны. Тем не менее, когда мы остановились у здания «Васе есть поесть» — как я его называл в детстве, мой шофер взглянул на часы и с удовлетворением сказал:

— За двадцать минут доехали. Успеваеете на своего папашу посмотреть.

В фойе, время от времени приспособляемом для церемоний такого рода, стоял дух елочного базара — от бесчисленных венков, обсыпавших все вокруг своими иголками. Невидимый оркестр играл классическую музыку. Я приподнялся на цыпочки и разглядел подбородок, нос, завалившиеся глаза — белое блюдечко лица, чуть выступающее за линию борта. Меня заметили и усадили поближе. Дали воды. Я жадно выпил — если не считать глотка из декановского стакана, я еще сегодня ничего не пил. Напротив, на треноге, стояла и смотрела на меня фотография отца. «Это был высокий мужчина нерусского вида с красивыми глазами, грустно взиравшими на мир из-под пушистых ресниц». И тут меня прорвало.



К счастью, с помощью второго стакана воды и в придачу какой-то пастилки мне быстро удалось взять себя в руки. У гроба в почетном карауле, образуя прямоугольник, стояли четыре человека, чуть покачиваясь. Один за другим сменялись ораторы. Чтобы снова не потерять над собой контроль, я сконцентрировал все внимание на трех иголках у меня под ногами. Две сросшиеся, а одна, как желтая тросточка подле двух расставленных зеленых ножек, они вместе составляли латинское N – начальную букву нашей с отцом фамилии. И вот этому игольчатому знаку я пожертвовал тот час, который отпущен был мне для последнего свидания с последним – и первым, и единственным – близким мне существом.

Когда вновь заиграла музыка и прекратились дозволенные речи, меня под руки подвели к ступеньке. Собравшись с духом, я взошел на нее и в священном ужасе коснулся губами замороженного лба (это же не он! это же не он!). Затем безропотно позволил себя увлечь сперва в какой-то угол, а после в черный автобус, куда уже к тому времени был водвинут гроб. (Говорят, что самое страшное, когда под звуки траурного марша рабочие начинают забивать крышку гвоздями – не знаю, по-моему, семья этого не слышит. Зато тряска в автобусе дает ей передышку перед последним испытанием.)

Караул! Без меня его кремировали – я попробовал протестовать, но мне отвели, что кремация – воля моего отца. Ложь! Не верю, чтобы он этого мог хотеть.

Не желают ли родственники проститься еще раз?

Все повернули головы в мою сторону. Нет, не желают. Железная пасть крематория отверзлась и, пожрав плоть выдающегося работника ВЦСПС, отрыгнула черным облаком.

Кажется, проследовали с венками из крематория на бутафорское кладбище – как потемкинскую деревню, его ничего не стоило переносить с места на место. Какая-то тетушка без умолку твердила, чтобы я всегда обращался к ней, если что понадобится. Она даже хотела забрать меня отсюда к себе, но я отговорился тем, что больше всего на свете теперь хочу остаться один. – «Но как же так, мы все сейчас едем ко мне, помянуть...» – Впрочем, она меня «понимала», благодаря ее пониманию я даже сумел бежать из этого ада раньше, чем допускалось приличиями (но без ущерба для своей репутации).

Метров через пятьсот я отпустил таксиста, нанятого все той же участливой тетенькой, – она мне все-таки всучила номер своего телефона, когда передавала сверток с вещами, бывшими при папе в миг кончины. Мне вдруг захотелось поехать в московском трамвае. Потом я катался на метро, поел в пирожковой, перевел через площадь слепца, разговорился на Павелецком вокзале с лыжницей в синих рейтузах и синей шапочке, находившей на лоб мыском – лыжница возвращалась с базы однодневного отдыха в Стропях. Еще я наблюдал румяную дворничиху и малокровную уборщицу – когда звонил в Ригу к одной знакомой, всего лишь на предмет разбитого окна. Покуда уборщица в сером халатике развозила по всей почте пастообразное месиво из опилок и грязи, за окном ее краснощекая подруга в белом переднике сбрыкала железным листом с асфальта ледок. Выйдя на улицу, я нашел Москву преобразенной ранними зимними сумерками. Наполнились электрическим светом тролли. Такой же горячий чай разлит за окнами квартир, кое-где совсем без заварки, кое-где покрепче, а кое-где даже пылает малиновый отвар абажура. Неон, прекрасный каллиграф, исписал все стены разноцветными чернилами, криптон озеленил столицу, ее улицы и лица. Под одним из его припорошенных глаз я поймал себя на том, что забыл свое горе. Это побудило меня исследовать переданный мне сверток. Сразу же о землю звякнули ключи – отличная находка, если учесть, что свои я еще минувшим летом посеял на взморье – кроме них там еще оказался бумажник, стянутый крест-накрест двумя браслетами: гипертоническим и часами. Рассматривающий такие вещишки под фонарем риску-

ет быть принятым за карманника или подвергнуться нападению карманников настоящих. Я спрятал бумажник и пополз домой.

Домой. Бог весть когда я в последний раз говорил так о нашей московской квартире, но вот стоило только хозяину испариться – не ищи его больше ни на земле, ни в земле – как вновь мой язык произнес это слово, произнес без заминки, словно рассеялись злые чары. Но, Боже, как жаль при этом старого колдуна. (В детстве у меня была фантазия, по которой и отец, и учителя, суть лишь маскарад враждебных мне сил, за моей спиной мгновенно преобразавшихся в какую-то горбоносую нежить. Не имею представления, откуда это шло у ребенка, только уж этими страхами я не мог поделиться ни с кем.)

Оставив дверь открытой, не вытирая ног, я прошелся по всем комнатам, на кухне сбросил пальто и ни с того ни с сего уселся на маленькую скамеечку, некоторое время служившую подставкой для ног одного юного Гилельса. Как бы в память об этом в последующие годы она постоянно путалась у меня под ногами, не давая шагу ступить. Мной овладела какая-то удивительная лень: было лень встать и закрыть дверь, было лень пересесть – ну хотя бы на табуретку – старую заслуженную табуретку, стоявшую на кухне, сколько я себя помнил. На столе, на расстоянии вытянутой руки, лежал новенький календарь. Лишь провоцируемый этой близостью, я взял его в руки – так бы не подумал. Январская страничка имела каких-то пять или шесть считанных пометок – обычно такие календари исчеркивались им дочерна и к концу года превращались в муравейник черточек, точек, буковок, не поддающихся ничьей расшифровке. В гнездышках за второе и пятнадцатое, между прочим, стояло: *ДВ*, и первое из этих *ДВ* было перечеркнуто красными чернилами. Правильно. Деньги Володя получил, как раз вчера. А вот пятнадцатого уже не получит, и никогда больше не получит. Потому что зарплата Володиного папы отныне будет начисляться другому какому-то папе, хотя справедливее всего было бы, чтобы сам Володя ее и получал – как наследник выдающемуся пайщику акционерного общества «Васе есть поесть». А что, я не справился бы с этой должностью? Чепуха, я бы прекрасно разъезжал по белу свету и на всех континентах с утра до вечера доказывал бы, что Васе есть поесть (и Володе тоже).

Нет, так не годится! Я встряхнулся, отнес пальто на вешалку, по-хозяйски, на крюк запер дверь, надел домашние туфли – по праву наследования и, улегшись на постель, как бык, заревел. (Нет, откуда у человека берутся силы так долго, так дико, не своим голосом орать? Скажи я это себе хоть миллион раз: нет, так не годится – это бы мало подействовало. А все из-за одной-единственной, но несноснейшей мысли: «Я – это он. И он оплакивает меня».)

Заснул я не скоро, совершенно измученный, и то лишь проглотив снотворное, приготовленное им для меня на своем ночном столике.

### III

Я не знаю, который был час, когда зазвонил телефон. Всеми своими рефлексами принадлежа Риге, я бросился было в прихожую, куда в ночном беспамьятстве мой мозг поместил эту черную цикаду – и, понятно, не нашел бы ни цикады, ни прихожей (прихожая, в московских-то новостройках), не подставь мне какой-то столик ножку впотьмах. Непроизвольный взмах руки, и в ней, словно выхваченная из небытия, пищит человеческим голосом трубка:

– Говорите с Ригой. (Ну да, правильно, с кем же еще мне говорить?)

– Алло, это ты? Ты меня слышишь?

– Да, да. Что случилось? – Тихо. «Давай никогда не ссориться» играет у телефонисток. – Ах, говори же наконец, что произошло?

– Ничего. Приезжай.

Сон отнесло в сторону, как лодку приливом.

– Но что? Что? Ты мне можешь сказать?

Молчание на рижском конце. «Пусть сердце сердцу откроется».

– Прилетай, сегодня же, первым рейсом. Я буду в аэропорту.

– Ну хорошо, милая, ну хорошо. Я прилечу. Но, умоляю, что такое?

– Ты меня любишь?

– Ах, о чем ты спрашиваешь...

– Я была в консультации. У меня, кажется, будет... нет, прилетай, слышишь? Я должна тебя видеть. Я уже сейчас в аэропорту. Я вся изошлась без тебя, моя любовь, моя жизнь...

Третий человек, клинышком языка:

– Закончили.

– Слышишь, я жду...

Гудки.

Черт, что на нее нашло? Я же днем с ней говорил. «Исходилась...» Сама ходила искать стекольщика? Ей же только надо было сообщить в жилконто... ру...

Моя рука скользнула по стене и нащупала выключатель – и тут же скользнула по ослепшим глазам, волосам – жест пробуждения. Цццарь небесный, это же не была она... Это же не была она!!! Я думаю, гримас пять сменило лицо мое: восторг открытия, ужас открытия, стыд открытия, боль открытия, и итоговая гримаса, столь ужасная, что на лицо опускается растопыренное – в десять пальцев – забрало. Только что кто-то разговаривал с папой и теперь ожидает его в рижском аэропорту.

– Да, – сказал я вслух. – Да, в момент сей в рижском аэропорту сидит женщина... и, может быть, на том же месте, где вчера сидел ты...

О, если на том же месте, то она не может не видеть симпатичного старичка на стене – доброжелательностью готового спорить с латышскими рестораторами, – который указывает вам (сразу всем) свободный столик. Надпись при данных обстоятельствах глубоко символическая: старичок и сейчас живее всех живых.

«Значит, это была правда, когда он говорил, что у него дела в Риге. А ты думал, что ты – его единственное дело. Как он бежал за тобой тогда...» (А мысленно: с каким лицом он пришел к ней тогда...)

Воспользовавшись приливом, Робинзон окончательно вывел из строя отнесенную сном лодку пиратов – пробил ее и пустил ко дну: вторую ночь уже «я» и «спать» были понятиями взаимоисключающими. Не зная, куда себя деть, я потащился в комнату, считавшуюся раньше моей комнатой. Дерматинный лист на письменном столе до сих пор хранил на себе следы детского томления – следы того, как в него вдруг начинало вонзаться стянутое фиолетовой пленкой перышко. В одном из отделений я обнаружил нелегально привезенную когда-то книжку – вклад в российскую словесность какого-то состарившегося на чужбине корнета. Брошенная мною в стол, она так и пролежала там все это время. Я раскрыл наугад и прочитал: «Рождество», издал горькое «хм».

*«Вернувшись по вечерюющим снѣгамъ изъ села въ свою мызу, Слѣпцовъ сѣлъ въ уголь, на низкій плюшевый стулъ, на которомъ онъ не сиживаль никогда. Такъ бываетъ послѣ большихъ несчастій».*

Что ж, бывает. Я продолжал чтение. После слов: «Съ мебелью – то же самое. Во всякой комнатѣ, даже очень уютной и до смешного маленькой, есть нежилой уголь. Именно въ такой уголь и сѣлъ Слѣпцовъ» – моя ирония сама собой как-то исчезла, уступив место мистическому предвкусению, что если так пойдет и дальше, то на следующей странице непременно появится чей-то умерший отец. Но произошло еще жутче, еще пронзительней. Совпадение было не чистым, механическим, но таким, что удар, мне нанесенный, исключал начисто даже самое слово

«совпадение», допуская одну возможность: в стане моей души действовал лазутчик. На следующей странице я – это уже был он, и он оплакивал своего сына. От выстрѣла половицы я слегка вздрогнул, но уже более ничто не нарушало моего ледяного спокойствия, скорее, впрочем, походившего на оцепенение. С холодной кровью прочитал я, как умер сынок, совсем недавно – радостно, жадно поговорив в бреду о школе, о велосипеде, о какой-то индийской бабочке – прочитал, как ослепленный сияющим снегом и слезами, Слепцов перевез гроб в деревню – удивительно, что он еще мог жить, мог чувствовать при этом. Я читал о трескучем морозе, в минуту превращавшем в сосулю слезу, об обжигающей даже сквозь шерсть варежки чугунной ограде вокруг белого склепа. (А ты! Почему ты позволил, чтоб меня кремировали!) О лете читал, ушедшем и теперь хранившем под снегом бесчисленные следы его быстрых сандалей (сказано: *сандалій*). Также ничего еще не случилось, когда вечером отец вошел в мою комнату и сел у голого письменного стола. И даже перебирая тетради и глядя на крупный индийский кокон в коробке из-под английских бисквитов, я по-прежнему оставался недвижим – это о нем сын вспоминал, когда болел, – жалел, что оставил его на даче, но утешал себя тем, что куколка в нем, вероятно, мертвая (нашел я также и расправилки, и порванный сачок – от кисеи пахло летом, травяным зноем). А затем наступила ночь. Тонкие тучи, как совиные перья, рассыпались по небу, но не касались легкой ледяной луны. Бедный отец, под мышкой в деревянном ящике я переносу вещи сына в свою натопленную комнату из его, выстуженной. Иван хочет поставить елку на стол: «Праздничек завтра». «Не надо, убери». Но Иван мягко настаивает: «Зеленая, пускай постоит». «Пожалуйста, убери» – не мог больше видеть, как осыпаются сросшиеся зеленые ножки, а рядом ложатся желтые тросточки, сплетаясь в наш с ним фамильный вензель N. И когда в тетрадке среди названий пойманных бабочек прочитал: «Вечером ездил на велосипеде. В глаз попала мошка. Проезжал два раза мимо ее дома, но ее не видел», то и тогда еще ничего не произошло. «Ездил, как всегда, на велосипеде», стояло дальше. «Мы почти (почти, Господи...) переглянулись. Моя прелесть, моя радость».

– Это немислимо, – прошептал Слепцов. – Я ведь никогда не узнаю...

«Вечером шел дождь. Она, вероятно, уехала, а я с нею так и не познакомился. Я ужасно тоскую...»

Он ничего не говорил мне, – вспоминал слепец. (А он, разве мне он говорил что-нибудь?!)

Все часы в квартире стояли. Мой рубиновый чертяка валялся где-то в спальне и там себе неслышно тикал. Рисунок на непроницаемом стеклышке, кроме того, чем он был в действительности, мог еще быть: спрессованными опилками; зарубцевавшимся ожогом; родом пластмассы – тонкой, как перепонка, нежной, как перламутр, и всегда по-праздничному нарядной; рельефом глазного дна окаменевшего чудовища; по-прежнему великолепным поставщиком метафор остается дендрарий, но уж это больно ходовой товар; и, наконец, местом, к которому в трамвае прикладывается пятак и держится до образования маленького иллюминатора: каков он, Божий свет, какими чудесами полнится (но для той, в аэропорту, уже никакие чудеса невозможны).

И в то же мгновение щелкнуло что-то – тонкий звук – как будто лопнула натянутая резина.

Слепцов видит:

...въ бисквитной коробкѣ торчит прорванный коконъ, а по стѣнь, надъ столонь, быстро ползеть вверхъ черное сморщенное существо величиной съ мышь. Оно остановилось, вцѣпившись шестью черными мохнатыми лапками въ стѣну, и стало трепетать. Оно вылупилось оттого, что изнемогающій отъ горя человекъ перенесъ жестяную коробку къ себѣ, въ теплую комнату, оно вырвалось

*оттого, что сквозь тугий шелк кокона проникло тепло, оно так долго ожидало этого, так напряженно набиралось силь...*

Я уже не мог продолжать чтения. Запрокинул назад, через спинку стула, голову и носом тяжело вздохнул. Слезы застыли на щеках, не зная, куда им теперь ка- титься. Эта минута решила все. Я ощутил, что тот царственный миг, к которому я готовил себя всю жизнь, в наступление которого так свято верил, настал. Я больше не был один в комнате. Некто, воздающий людям за их неколебимую веру, уже стоял здесь, сложив крылья. Почти нечеловеческое счастье наполнило меня. Но вот к этой эмфиземе прибавилась низкая проза: а что же я, собственно, читаю? Название книги, едва проступавшее двойной белой нитью сквозь черный глянец обложки, было устрашающе банальным: возвращение какого-то жигана. Как бы смахнув эту случайную нитку, я впился глазами в имя автора. Слышал ли я его раньше? О! Выхваченное лупой из белой бисерной строки диафильма, оно всегда сулило мне исполнение желаний, хотя и придавало иной, совсем иной оборот папиным словам: «Твоя фамилия тебе поможет».

Я быстрыми шагами заходил по комнате: я могу обеспечить их таким капиталом – папины слова, какой ему и не грезился. Я сделаю их пророческими. Вы хотели сжечь его душу, так вот, получайте – я сохраняю ее навечно. Со времен древних курганов еще не писалось ничего лучшего на гробницу отца. Приам не лобызал слаще ног Ахилла, и жарче не была доха, которой он укутал своего Гектора. Это будет родник, забивший из чернильницы безвестного корнета. Безвестный кор- нет... его я тоже не обездолу. Мог ли он при всей своей пылкой фантазии – а как пылка она, это я знаю – допустить хоть на мгновение, что в черной красной Рос- сии вдруг в полный голос, стотысячным тиражом, грянет его имя. Да, именно гря- нет. Эта фантастическая жемчужина, этот рассказ, он будет напечатан здесь – о, я не дам ему сгинуть в безвременье. Папочка... Господи... Этим я вымолю себе прощенье...

Я задохнулся. Листы! У меня в столе еще с тех далеких пор должны лежать чистые листы. Если б здесь стояла моя «оптима»... Тогда бы все было закончено в два счета. (Конечно, на что ему была пишущая машинка? Референт сочинит, референт настроит.)

Переписывать в жару (сердца, *м.р.*) и в то же время делать это красиво – не- возможно. Не имея средств к остужению первого и терпя сильную нужду во втором, я из всех своих почерков избрал самый ранний, вязь, сиречь печатные буквы, писать которыми научился еще на пятом году жизни. Труд переписчика труден, главное в нем не пропускать буквы и не повторять дважды слова. Обычное вознаграждение: поцелуй директора, если ты его секретарша, или же радость свершения, если ты работаешь на себя. Как следствие: дырявые локти, геморрой, писчий спазм и т. д. и т. д. Переписчик об этом знает и, независимо от видов выполняемой работы, всегда недоволен, всегда в плохих отношениях с текстом, который, по его мнению, чересчур длинен – и хочет только одного: поскорее кончить.

Я кончил к утру (к этому времени первый самолет уже приземлился в Риге, и я малодушно выдернул вилку). Предстояло теперь каким-то образом связаться с Устименко, объяснить, кто я такой, но – от скольких неудобств становишься сразу избавлен, если имеешь связи в высших сферах, и сама судьба тебе покровитель- ствует – тогда, минуя бюрократические рогатки, расставляемые ее служками, ты, как по благу, прямо попадаешь на прием к нужному тебе лицу, и лицо это, как явствует из дальнейшего, любезно с тобой. Короче говоря, одеваясь, я выронил из кармана бумажку, на которой от руки было написано: Екатерина Петровна Усти- менко, рабочий телефон, домашний телефон. Судьба не любит робких фаворитов, я позвонил прямо домой. Екатерина Петровна не заставила долго упрашивать себя

о встрече. «Я спешу в редакцию, – сказала она. – Приходите ко мне, прямо в мой кабинет. Адрес такой-то».

Знаете, корнет корнетом, а я вдруг совершенно позабыл о нем, и сердце у меня забилось, как будто это был мой рассказ. Как знать...

Для большей вероятности успеха затеваемого дела я суеверно переоделся во все папино, даже белье надел его. На улице была прелесть. Недавно взошедшее солнце подернуто морозной пленкой. Желтовато-сизые небеса, мутные, как листовое стекло в колчане у стекольщика, оседают на землю тем особенным маревом, какое возможно лишь при минус двадцати пяти. Прохожие быстро перебегают из одного продовольственного подвальчика в другой, точно такой же. Кафтаны их черны. Дворничиха подбирает и кладет в свое железное лукошко замерзшую ворону с перебитым крылом. Милиционер – под носом бесчувственная сопля. Еврей-снабженец в бедном пиджачишке поверх фуфайки и в бобровой шапке – Палосич – выглянул и спрятался. А через минуту со двора выкатил крытый брезентом грузовик. В марте какое-то черноокое племя начнет продавать мимозу. Вдоль поребрика медленно катится картофелина. И я – проплываю среди всего этого в такси с рукописью на коленях. Прелесть, что за утро.

Журнал «Большевичка» расположился в старинном доме на членистоногом московском бульваре. Это был старый антилитературный журнал, несколько раз менявший свое название, – в последний раз в сорок восьмом году, когда состроугали всю редакцию. В отдельные периоды его существования антихудожественные публикации подменялись публикациями ахудожественными, и тогда считалось, что журнал вступил в полосу расцвета. В настоящий момент он как раз находился на переходной стадии между этими двумя своими состояниями.

В кабинет главного редактора можно было проникнуть двумя путями: через приемную, украшенную надписью «Секретарь главного редактора ГР. ПОМЕНЯЙТЕ» – поменяйте ударение с «я» на первое «е», и все будет в порядке, – и через другую, соседнюю с ней комнату с табличкой «Ответственный секретарь редакции ГР. ГОРЕЛОВ». Принимая во внимание всю ответственность предстоящего шага, я предпочел воспользоваться второй дверью. Тщедушный человечек в синих нарукавниках, выслушав меня, молча поднялся из-за стола и просунул голову в низкую дверь в глубокой нише. Затем с той же невозмутимостью вернулся на свое место, но дверь оставил открытой. Я вошел.

Ах, какой это был бедный сиротка! Ах, какие слезные вздохи обрушились на меня, едва только я переступил порог кабинета Екатерины Петровны.

– Сейчас, одну минуточку, словечко секретарше... Гражина, я занята! – и к другой двери: – Горелыч, меня нет! Так что, так что, мой дорогой бедный друг! Садитесь же! – Она схватила меня за руку, подвела к кожаному дивану, уселась сама и усадила меня. Это была типичная, хоть и прибарахлившаяся, партийная дама, сентиментальная и в молодости, надо полагать, крепко сбитая.

– Екатерина Петровна, – начал я, – всю эту ночь я не спал. – Кивает. – И к утру у меня созрел замысел рассказа, – кивать перестала, – который был мною тут же перенесен на бумагу... Я работал как одержимый, вот... – Моя легонько постучал пальцем по рукописи, которую моя на манер старинной грамоты свернул в трубку. Немая сцена. По завершении ее Екатерина Петровна выдавливает: – Да... что вы говорите. – Но отступать ей совершенно невозможно. Моя уже протягивал рукопись – так бывает, когда опрометчиво даешь на курорте свой адрес какому-нибудь колхидцу, а тот, глядишь, приезжает: – Моя хотэл Москва видэд, принимай госд.

Взяла Екатерина Петровна рукопись, пересела за стол, поправила очки и стала читать. На второй минуте она спросила:

– Вы когда-нибудь раньше печатались? – Вопрос традиционно лестный для автора, который, впрочем, слишком наивен, чтобы понять его истинное назначение.

– Нет... то есть один раз, миниатюру, в университетской газете...

Екатерина Петровна продолжает читать. Иногда по ходу чтения она восклицает: «Это мы оставим» или: «Ну, уж это, положим...»

Что значит «оставим» – испугался я. Да я не позволю изменить ни одного словечка! Я уже раз смалодушничал, дал искромсать свой рассказ. Хватит. Никаких изменений в тексте. Так и скажу: или – или.

Между тем она кончила читать и молчала. Не знаю, о чем уж она там думала, но только когда она извлекла из рукава огромный, величиной с косынку, платок и сморкнулась в него – Василиса Премудрая – я испытал к ней даже нечто вроде признательности.

– Ну вот, старая дура, вспомнила я вашего папу... вы с ним так похожи. – Она зацепилась за зубы губами, словно продела резинку – так туго, что белый хрящик выступил на носу. – Ну, хорошо, – сказала она, как бы пробуждаясь от недостойного ее звания сна. – Я прочитала ваш рассказ, что я вам могу сказать... – Я гордо взметнул голову. – Он мог бы получиться неплохо. Да. Можно смело сказать, что вы продолжаете купринскую традицию в русской прозе. Традицию очень честную, очень хорошую. Временами ваш язык становится на редкость образным, на редкость сильным. Много находок. Например, где вы пишете про лошадь, как там у вас... на морозе лошадь туго хлопала селезенкой... «Туго хлопала селезенкой» – это великолепно. Так и хочется, чтобы ее вел под уздцы красноармеец... Ну ладно, от вас никто не требует писать о красноармейцах, о красноармейцах, какими я их помню и знаю. Но скажите, что побудило вас, молодого человека, внука революции, без всякой видимой причины – и невидимой тоже! (красный дух ее распаялся) поместить своих героев, то есть своего героя в абсолютно чуждую и ему и вам социальную среду? Вы посмотрите, что вы делаете, – берете и переносите действие рассказа в бог знает какие времена, даете ему поповское название и в таком виде предлагаете в советское издательство. Вы что, не чувствуете во всем этом фальши... какой-то... – она запнулась.

Воспользовавшись этим, я подошел к столу и положил руку на рукопись. Сердце в груди отчаянно билось. Терять было нечего все равно, воспоминание об ангеле, посетившем меня ночью, истерлось из памяти не вполне. И я сказал:

– Екатерина Петровна, по всей видимости, произошла ошибка. Я шел не в издательство, советское или несоветское, как будто существуют еще какие-то издательства. Я шел к вам – женщине, которая, мне казалось, способна понять мое состояние. Участие, проявленное вами вчера, ваша чуткость, понимание того, что больше всего нужно человеку в такую минуту (шмыгнул носом)... Такое не забывается. Поэтому когда ночью, как при вспышке молнии, я увидел этот рассказ, весь целиком, то сразу подумал: она – поймет. Ослепший от горя отец – это как если б я взглянул на себя в зеркало, где все наоборот... А повсюду папины вещи, его блокнот... Это было какое-то наваждение. Мне ничего не пришлось сочинять. И мысль: успеть записать и скорее к ней. Она – поймет. Что ж, вы преподали мне хороший урок. Гипсовый горнист, и тот вправе рассчитывать на большее. Только я не верю вам... такой. Я видел слезы на ваших глазах, когда вы это читали. И вдруг все исчезло. Вы решили, что перед вами идеологический диверсант, который – о ужас! – человеческое горе выносит за рамки производственных, социальных и прочих отношений. Конечно, я должен был назначить Слепцова директором завода, чей сын погиб при пуске в строй новых мощностей, детская смертность – это нетипично. А хоронить его директор приехал в родную деревню. Слуга превращается в личного шофера, сочельник – в Первое мая... О! Для меня самое малейшее изменение в этом тексте явилось бы предательством чувств, предательством отца и всего, пережитого этой ночью. Есть же в жизни хоть что-то, что построено на чувстве, куда вносить расчет низко, подло.

Я взял со стола листы движением человека, собравшегося уходить.

– Пойдите же! – воскликнула Екатерина Петровна, ловя мою руку через весь стол. – Вы взволнованы, вы должны успокоиться. Возможно, я была неправа в чем-то, возможно, не так с вами говорила. Давайте еще раз все спокойно обдумаем, давайте ваш рассказ. – Она взяла верхнюю страницу, последнюю в тексте, и стала ее перечитывать. – Ну вот, у вас тут и бог, да еще с большой буквы. Честное слово, где это вас так учили... – Но за этим ворчаньем чувствовалось – и я вдруг понял это, к своей безмерной радости, – что я победил. Она еще о чем-то заикнулась – речь, видите ли, хромает: «расправилки» («Так в детском саду могут говорить, писатель должен знать предмет, о котором пишет, вас же юннаты на смех поднимут...»), и тут как хлопнет по столу двумя ладонями сразу: – Ну, хорошо, посмотрим на это с другой стороны. Общая идея: смерть отступает, жизнь оказывается сильнее. При этом никакой поповщины. Жизнь как категория чисто биологическая. Мыза? Помещик? Это можно трактовать как попытку в первую очередь выявить общенациональное в характере героя... Обратное же: желание заставить героя действовать в классической для русской литературы среде. Чехов, Куприн. Воскресают перед взором полотна передвижников. Хорошо, ладно, мы это берем. В конце концов... Кстати, – спросила она, уже держа в пальцах нижний первый лист, – вы хотите, чтобы ваша фамилия была изменена, как у вас здесь, в рукописи?

– Да, это непременно. Строго говоря, это нельзя считать изменением фамилии, а скорее уточнением национальной принадлежности.

– Нет, ради бога, это ваше право. По-моему, ваш папа даже рассказывал, что его так в детском доме по ошибке записали – без окончания... Горелыч!

В дверь просунулась голова, угодливо склоненная набок.

– Горелыч, посмотрите, вот это, – ткнула пальцем в мой рассказ, – идет во второй номер. Гакова и Кин немножко потесним... Да, познакомьтесь, наш новый автор, Владимир Набоков.

#### IV

История, которую я хотел рассказать, подходит к концу. Второй номер «Большевички» вышел в срок, и пятого февраля я уже видел его на прилавках книжных магазинов. Рассказ «Рождество» занимал шестнадцатую, семнадцатую и половину восемнадцатой страницы. Генерал-майор авиации Гаков («История одной тренировки») и Цецилия Кин со своим «Сном Пассионарии» расположились по обе стороны от него, как два шафера.

Вечером того же дня в булочной ко мне подошел человек и проговорил быстрым шепотом:

– Поздравляю. Вы совершили невозможное. Это великий день.

Он сразу же убежал, только пожал мне руку; собственно, как такового пожатия не получилось: он не попал в мою ладонь, а я, от неожиданности, схватил его за кисть, потянув за нарукавник, почему-то не снятый им после работы и торчавший из рукава пальто.

Изъятие второго номера «Большевички» из магазинов и библиотек началось только через пять дней, когда большая часть тиража уже разошлась по рукам. Я хотел удрать в Ригу, но не успел и вынужден был испить всю уготованную мне чашу до дна. Впрочем, меня пощадили, лишь велели убираться из Москвы куда глаза глядят.

Устименко выложила на стол свой партбилет. («Простите, Екатерина Петровна», – сказал я ей во время нашей очной ставки. – «Я бы таких вешала», – ответила Екатерина Петровна).

Спустя несколько месяцев в Риге, в роддоме на Московской улице, родился один ребеночек. Мы зарегистрировали наш брак с его матерью и живем в мире



и любви. Ни одна душа на свете, включая ищеек из ГБ, не подозревает, кем на самом деле доводится мне этот маленький.

Раз, уже совсем недавно, гуляя с ним по Межа-парку, я повстречал Яна Бабаяна-Эскердо со своим маленьким бабаянчиком. Мы разговорились.

– А знаешь, Ян, кто это – Набоков, из-за которого меня постигла кара богов? – спросил я.

С секунду подумав, Ян сказал: – Конечно. Набоков – это псевдоним знаменитого писателя Сирина, убитого в двадцатые годы в Берлине русскими фашистами.

*Май 1977  
Иерусалим*